

Муха имени Штиглица

Автор:

Арина Обух

Муха имени Штиглица

Арина Обух

Классное чтение

«Муха» – это Санкт-Петербургская академия имени А.Л.Штиглица, она же – училище имени Веры Мухиной; престижное учебное заведение для художников.

Арина Обух – выпускница «Мухи», художник-график и писатель с особой оптикой: её тексты – это «проза художника», который видит мир иначе.

И в этом мире сосуществуют бомжи и философы, художники и музы, рыбы и кладбищенские копачи, промоутеры и демонстраторы пластических поз, рыбаки и кариатиды... Вместе с ними можно прогуляться по набережной Фонтанки, по качающемуся Цепному – Пантелеймоновскому – мосту, заглянуть в Соляной городок и изостудию Эрмитажа, пройти по Шпалерной, Пестеля, Большой Морской...

Арина Обух

Муха имени Штиглица

Светлане Мосовой и Павлу Обуху

Оформление переплёта – Виктория Лебедева

Фотография на переплёте – Ярослав Булавин

Иллюстрации – Арина Обух

© Обух А.П.

© ООО «Издательство АСТ»

Муха имени Штиглица

От Лебяжьего канала, за Цепным мостом,

поверх Соляного городка высился стеклянный

свод художественно-промышленного

музея барона Штиглица...

Кузьма Петров-Водкин. «Пространство Эвклида»

Муха – будь она проклята – жужжит

и жужжит, и усыпляет меня.

Марк Шагал. «Моя жизнь»

Улыбайся, подлец!

Петербург создан для художников. Причем очень бедных художников. Имеющих за душой две-три краски, не более...

– Слушай, напиши книжку про Муху.

– Про какую муху?!

– Да про свою Муху – Академию Штиглица.

– Да, да! Напиши!.. – вторит хор голосов.

Почему я?!

Да не хочу я писать ваши книги, рисовать ваши картины и донашивать ваши бывшие мечты из секунд-хенда!.. Я другое дерево.

– Какое, интересно?

– Синее.

Сказано – не сделано.

Напишу книгу. Бестселлер. Заработаю много денег и куплю себе нормальную жизнь.

А проживу её чуть попозже.

...Когда я впервые переступила порог Мухи, академии имени Штиглица, меня потрясли три вещи: Пергамский алтарь, в аудиториях одни девушки (ни одного Петрова-Водкина!), и отсутствие счастья на лицах.

Мне казалось, если ты учишься в Мухе, куда некоторые художники поступали по пять-шесть раз, то выражение счастья не должно сходить с лица: судьба решена, смысл обозначен. Улыбайся, подлец!

Спустя время, уже учась в академии, я увидела в зеркале XIX века недовольную росوماху – это была я. Ожидание счастья угасло и во мне.

Кстати, в этом зале ожидания я стояла с трёх лет.

– Жила-была девочка, и звали её Счастье.

– Нет: Обух!

– Жила была девочка, и звали её Фламинго.

– Нет: Обух! – сопротивлялась я.

– Ну хорошо. И звали её Обалдуй Обух.

– Ну-у, это неприличность.

– Кузьма-а-а!... – смеялся папа. – Вот уж не думал, что так с фамилией угожу!

Всё детство меня называли Кузьмой (хочется думать, что в честь Петрова-Водкина, главного штигличанина, которого в семье чтили).

У меня тяжёлая наследственность: папа въехал во дворец Штиглица в коляске – два студента-монументалиста, мои будущие бабушка и дедушка, родили третьего монументалиста и бросились все втроём сдавать сессию.

И если уж совсем точно, то я впервые въехала в академию, балансируя на плече папы. Мне было года три.

...Белая мраморная лестница. Долго поднимаемся. Оказываемся в огромном зале. Над головой стеклянный купол. Идём по длинным коридорам, снова лестницы, картины, колонны... Шум, люди. Поднимаемся ещё выше. Все жмут друг другу руки. Обнимают. Смеются. Пьют вино за встречу и за 5-й этаж.

Так и запомнилось: здесь радуются и все друг друга любят. Здесь – счастье.

А таинственный «5-й этаж», как выяснится позже, – это монументалка, декоративно-монументальное отделение живописи. «Стены красим», – брезгуя пафосом, обычно говорили монументалисты. Я повторяла за ними. «Чем занимается твой папа?» – «Стены красит», – отвечала я.

И все думали, что мой папа маляр.

Муха имени Штиглица

Во времена моих родителей академию называли училищем имени Веры Мухиной, в просторечии – Мухой. Сам же Александр Людвигович нарёк свой дворец Школой технического рисования барона Штиглица.

Я думаю, глядя на всю эту роскошь, названную просто «школой», что скромность барона зашкаливала. Впрочем, в те времена красота являлась нормой: в моде была архитектура, а не дизайн.

Между прочим, когда академия называлась училищем имени Веры Игнатьевны, студенты любили с шиком козырнуть Штиглицем: во-первых, это было справедливо. Во-вторых, звучало красиво и даже как-то баронно. Однако сегодня, когда имя Александра Людвиговича вернулось на своё законное место, многие по-прежнему зовут академию Мухой... И в этом тоже есть своя справедливость.

Скажем так: Муха имени Штиглица.

На гербе барона Штиглица – три пчёлки. Он действительно трудился яко пчела: строил железные дороги, вокзалы, приюты, учреждения... Но самым любимым детищем его была Школа технического рисования – с великолепным убранством внутри (впоследствии утраченным в хаосе революций), огромной библиотекой и потрясающим музеем, построенным академиком архитектуры и первым директором Максимилианом Месмахером.

Невероятно, но этот ДВОРЕЦ находится в переулке. С земным названием: Соляной, 13.

Соляной городок

Был когда-то Соляной городок. А остался только Соляной переулок.

А в чём тут соль?

А соль в мешках. Дело в том, что до середины XIX века здесь находились огромные соляные склады.

Но ещё раньше в этом месте, на берегу Фонтанки, была Партикулярная верфь: Пётр I мечтал, чтобы его подданные плавали, как жители Амстердама и Венеции, и поэтому мосты не строил, а строил суда и верфи.

Случись всё по его разумению, мы бы сегодня были не пешеходами, а гребцами.

Не случилось.

Соляной городок размером с квартал. Его доминанта – тот самый стеклянный свод, о котором писал Кузьма Сергеевич и который сегодня все называют куполом. А вместо Цепного моста – Пантелеймоновский.

По качающемуся Цепному мосту косяком ходили классики, ещё не ведая, что они классики. А мы ходим по Пантелеймоновскому, нерадивые студенты. Может, всё дело в этом – в разных мостах?..

Пушкин тоже ходил, живя одно время «у Цепного моста, против Пантелеймона, в доме г. Оливье».

«Против Пантелеймона» – это значит напротив храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона: единственного, что осталось на этом месте с петровских времён. Нет ни верфи, ни соли – одно название.

Но оно всё держит.

Человек из скайпа

Звонок – и строгий голос:

– Так. Ты про Муху пишешь?

Я вздохнула, выдохнула – и с его стола упали листы бумаги...

Тут нет ничего удивительного, за исключением того, что вздохнула я в Питере, а листы упали у него в Москве.

– Да не хочу я писать про Муху!

– Муха – это фон; пиши про себя.

– Про себя – пожалуйста: меня сегодня похвалил преподаватель рисунка.

– Поздравляю. А что он сказал?

– «Какая красивая барышня!»

– Так это он Создателя похвалил, а не тебя.

Дикий гул заглушает его слова.

– Что это?! Боже, что это?..

– Самолёты летают.

– Они летают прямо у тебя в квартире?

– Почти. Тут рядом аэропорт, я же говорил тебе... Так, не уходи от темы. Почему ты не хочешь писать о Мухе?

– Я хочу писать роман о тебе.

– И что ты напишешь?

– Как ты кормил бабочку апельсинами... А начну я так: «По его квартире летают самолёты...».

– Нет, это мой роман. А ты пиши свой – про Муху. Спасай литературу. И вообще я не понимаю... – Тут человек из скайпа начинает сердиться. – Если издатель ждёт от тебя книжку, почему ты валяешься на диване и думаешь про всякую ерунду?!

– Ты считаешь, что это не похоже на написание книги?

– Ну как тебе сказать...

– Кстати, мне сообщили, что книжка должна быть три авторских листа. Три листа – это семьдесят страниц?

– Как – три листа?! Это будет брошюра, что ли?!

– Но ты же сам говорил – сто страниц написать...

– Я говорил «хотя бы». Книжка должна быть шестьсот страниц!

[illegible]

В зале ожидания

В изостудию Эрмитажа я поступила по конкурсу в пять лет. Все дети пришли с нарисованными принцессами и цветочками, я пришла с «Изгнанием из рая». Толстенную папку с работами (жаль, что нельзя было принести с собой и разрисованные дома стены) приняли на рассмотрение. Взрослые не верили, что в эту изостудию можно поступить без блат, который, по слухам, нужен везде, даже когда тебе пять лет.

- Ну что, что?! - спрашивали родители. - Что тебе там сказали?

– Не помню.

– Как это?! А ты вспомни!

- Не помню, - честно говорю я.

– Но это же важно! Они работы твои смотрели?

– Смотрили.

– И что сказали?

- Не помню.

Родные в растерянности.

– Вспомнила! – радуюсь я. – Они сказали: идём, девочка, мы покажем тебе, где выход.

– И это всё?!

– Да.

Пауза. И отчаяние:

– О боже!.. Если моего ребёнка с такими шедеврами не примут в Эрмитаж, я вцеплюсь в горло Пиотровскому!

В назначенный день мама стояла у стенда и долго смотрела в список о зачислении, забыв от волнения мою фамилию (у мамы и папы разные фамилии, потому что они состоялись до того, как поженились).

Домой она ворвалась с тортом и криком:

– Справедливость торжествует!

– Она всегда торжествует. А ты не знала об этом? – снисходительно ответила я, наслушавшись сказок.

Горло директора Эрмитажа было вне опасности, его шею по-прежнему украшает элегантный шарф.

На протяжении шести лет я ходила в Эрмитаж по субботам. Зима. А сейчас мы нарисует зиму. Весна. А сейчас мы нарисует весну. Рисуешь весну, приносишь, а тебе говорят:

– Ты нарисовала небо, какого не бывает.

Выходишь на улицу – и видишь небо, какого не бывает.

– Мы не будем учить вас рисовать, – говорили нам в изостудии. – Этому будут вас учить стены Эрмитажа. Он ваш.

И он действительно был наш. Со всеми его сокровищами, выставками и новогодними карнавалами, где мы, как правило, изображали из себя древних

греков и в предпраздничной суете можно было услышать такие разговоры взрослых:

– Здравствуйте, это вам звонит мама Сизифа.

Или:

– Это папа Геракла, прошу прощения за поздний звонок...

Эрмитаж был единственным моим окном в жизнь. Форточкой.

Дело в том, что в школу я не ходила до 6-го класса: аллергия. Кругом были мои личные враги: пыль, коты, собаки, цветы, морской бриз, чужие духи, чужие носки и т. д. Даже из музеев, где пыль священна, мы выбегали очертя голову.

Гостей в дом не пускали. Правда, однажды к нам пришёл друг, причём в новых носках и новой рубашке, и даже показал чек из магазина: мол, всё новьё, чистое, никаких ароматов. Его пустили. А через полчаса выгнали, потому что от гостя несло четырьмя его собаками и мой нос тут же об этом доложил.

И вот в режиме такого затворничества меня впервые повели в кинотеатр, и это было чудо. Поэтому, когда в изостудии Эрмитажа спросили: дети, как вы провели лето? – и все наперебой радостно закричали: я был в Испании! а я в Болгарии! а я в Париже! – то я тоже, как последний дурак, стала тянуть руку, чтобы поделиться своим счастьем.

– Ну а ты где была, Арина?

– А я была в кино!

И всеобщее недоумение коллектива долгое время оставалось для меня загадкой.

Пропала жизнь, дядя Ваня

Из-за моей аллергии у меня огромные лакуны в образовании. Я всю жизнь боялась, что меня спросят, когда отменили крепостное право (почему-то именно крепостное право): меня не примут в лицей, выгонят из института и любимый от меня отречётся.

Ещё я не умею определять время по часам со стрелками. Родители не понимали, как такое может быть. Я отвечала:

– Вы какие-то древние греки – определяете время по палкам.

Ко всему ещё у меня были бабушкины белорусские гены в грамматике.

Белорусский язык – фонетический язык, то есть как слышишь, так и пишешь: «Масква», «каралева» и т. д. Очень удобно. Прекрасный язык! Но недооценённый в моей школе.

В общем, на память о школе у меня осталось два ужаса – ожидаемый исподтишка вопрос о крепостном праве и брошенная фраза разгневанного учителя по математике:

– Ты кем собираешься быть – математиком или несчастным гуманитарием?!

И тут, конечно, была уместна реплика из Чехова, что-нибудь этакое: «Пропала жизнь!..»

Пропала жизнь, дядя Ваня...

Со временем моя аллергия утихомирилась, и после восьмого класса мы решили поступать в знаменитый художественный лицей № 190 при Мухе, где родителям сказали:

– Ваш ребёнок талантлив, но совершенно не образован.

Вина висела на папе, который категорически был против, чтобы детей учили рисовать «правильно». И на маме, которая говорила:

– Я родила тебя для счастья, а не для ЕГЭ. Перестань зубрить, иди гулять. Получишь двойку – куплю тебе шоколадку.

– Тогда ты должна мне уже две шоко-ладки.

Но в лицей я всё же поступила. На голом таланте, не особо отягощённом знаниями.

А после лицея... Казалось: начнётся новая жизнь, «чистая, как родник, светлая, как солнце...» – а будет лишь продолжение старой. Потому что Муха находится через дорогу от моего художественного лицея, лицей – через мост от изостудии Эрмитажа, а Эрмитаж – через мост от моего дома. И когда лицей закончится, будет ощущение, что я просто перейду через дорогу в двенадцатый класс. И со мной перейдут почти все Крысы.

Крысы – это не обзывательство. Это факт биографии моих одноклассников: год рождения. Люди 1996 года.

В лицее нас усердно, по-честному готовили к Мухе. Муха была оазисом – или, точнее, миражом в пустыне. Нет ничего, кроме Мухи. Вам ничего, кроме Мухи, не нужно. Но вы не обольщайтесь: не факт, что вы ей нужны. Она не всех принимает. У вас клочковатое сознание: это когда Пушкин – одна планета, Лермонтов – другая, девятнадцатый век – третья. И если они столкнутся, то это будет время большого взрыва в ваших головах. С непредсказуемыми последствиями. Потому что вы поколение ЕГЭ, пепси и жвачки.

«Лав из...»

В детстве о любви мы узнавали из киоска.

– Можно «Любовь» за два рубля?

В конце девяностых на углу 6-й линии Васильевского острова, возле детской площадки, стоял ларёк, где продавалась жвачка «Love is...». Мы еле дотягивались до прилавка. И видели только руку, дающую нам «Любовь». И было страшно интересно: какое божество там сидит? Мы росли и бегали за этой «Любовью». И не было ничего вкуснее её.

Но ещё она покупалась ради вкладышей, в которых изрекались примерно такие истины: «Любовь – это... знать, когда ему нужно побыть одному». Между многоточием и откровением помещалась картинка: на ней был нарисован бешеный мужик. И убегаящая женщина.

«Любовь – это... когда он несёт твои лыжи».

«Любовь – это... помогать ей перед экзаменом».

В один прекрасный момент мы поняли, что достаём до окошка, то есть уже можем посмотреть этому богу любви в глаза.

Оказалось, что это пьяная злая тётка. О любовь, ты ужасна!

Со временем «Любовь» стала дороже, а потом совсем пропала. Исчезли жвачка, ларёк и наше детство. Скоро в школу.

...В которую я не пошла, как барон Штиглиц: Александр Людвигович тоже был на домашнем обучении. Мог себе позволить.

И только поступив в академию, я поняла, что любовь – это когда тебе дарят гранатовое платье.

Такая легенда: Каролина Штиглиц считала себя некрасивой женщиной и не любила бывать на балах. Но однажды супруг подарил ей платье, расшитое гранатом (мог себе позволить): по его разумению, она должна была затмить всех на балу и избавиться от своих надуманных комплексов.

Не знаю, почувствовала ли она себя красивой в этом платье...

Скорее, просто любимой.

Изверг

Значит, до шестого класса я сидела на домашнем обучении.

– Ни в коем случае, – говорили умные люди родителям. – Не учите сами своих детей! Своих не учат и не лечат: плохо получается, нужна дистанция. Иначе вы станете извергом для собственного ребёнка. Пусть лучше извергом будет учитель.

Быть извергом – эта честь выпала на долю моей первой учительницы, милой Ольги Николаевны.

На протяжении четырёх лет она приходила к нам домой, и огромной жертвой с её стороны было – не душиться духами. Но всё равно от неё пахло какими-то запрещёнными цветами... Высокая, молодая, красивая – хотелось быть такой, как она.

Художники говорят: «Никогда не берите цвет из банки! Он слишком открытый!» Это означает, что краски надо всегда смешивать и получать какой-нибудь благородный сложный цвет. Вы скажете: а в природе!.. А в природе тоже нет открытого цвета: даже самый красный цвет розы смешан с воздухом, приглушён тенью крыла бабочки или замаран каким-нибудь приبلудой-репейником.

А Ольга Николаевна вся была сплошной открытый цвет – и ей шло. Шёлковый голубой платок, ультрамариновый плащ, фиолетовое платье и всегда ногти под цвет платья, длинные-длинные. Указывают на мои ошибки:

– Смотри, ты написала «Петя» с маленькой буквы. Почему? А если твоё имя написать с маленькой?

И написала: арина обух.

Педагогический приём обернулся для меня гражданской казнью: я заплакала горько-горько...

Ольга Николаевна, вы изверг с прекрасными когтями.

На самом деле она была просто очень юной.

Она приходила ко мне из другой жизни – о, это была прекрасная настоящая жизнь, где дети шумят, получают двойки и орут друг другу: «Я на аэроплане, а ты в помойной яме!» И так целый день.

(И всю жизнь.)

Однажды Ольга Николаевна сообщила, что скоро будет утренник и конкурс на самое красивое платье.

Родители, взглянув на меня, дрогнули и решили, что, пожалуй, можно рискнуть и посетить школу. Купили бордовое платье (под девятнадцатый век). И отвезли на бал.

Платье было красивое, цвет был «не открытый». Сложный! Благородный! Мне казалось, что такой цвет должен победить или, по крайней мере, не остаться незамеченным.

Мои одноклассники видели меня редко, ходили слухи о моей страшной болезни, и некоторые из них смотрели на меня так, словно ожидали увидеть зелёную кожу или хвост.

Началось голосование за лучший наряд.

– Ты за меня проголосовала? – спрашивало голубое платье у розового. – Хорошо, а я за тебя.

– Ты за меня голосуешь? Я тебя в гости приглашу. Завтра.

Платья ходили, шептались, кружили по залу – все сущности были для меня исключительно платьями, которые я никогда в жизни не надену: голубыми,

розовыми, жёлтыми.

Эти три открытых цвета заняли первые места. На головы победительниц водрузили пластмассовые короны. Которые они до сих пор не могут снять. Пластмассовая корона, надетая или не надетая в детстве, играет большую роль в жизни человека. К пластмассовой короне нужны пластмассовые ногти, нарисованные брови и мечта стать стилистом.

...И всё же, как выяснилось позже, моё платье беспокоило – судя по тому, что одна из пластмассовых королев, злая волшебница Ге, которую я не пригласила на день рождения, сказала:

– Подарите ей духи – пусть она задохнётся!

Свои

– Зачем ты рисуешь розовое лицо?! Оно же синее! А ухо зелёное! Смотри, какая голова у него квадратная! А у тебя что?! И нога с рукой – это же единая линия! Посмотри направление! Оно подчёркивает стул! Тут же главное – холодная тряпка на заднем плане. Обрати внимание.

Слышишь эти речи. И понимаешь: тут свои – с зелёными ушами, малиновым небом и двойками по математике. Родные. Земели.

Я знала точно, что мне никогда не пригодятся графики движения функции, синусы и косинусы. А вот Насте Сапёр пригодятся.

– Сапёр?

– Она хотела быть сапёром.

– В художественном лицее?!

– Да, считала хорошей профессией.

На последнем году обучения наш классный руководитель написал объявление, которое повесил на дверях кабинета: «Кто хочет, собираемся завтра в 12 часов у храма, будем молиться Сергию Радонежскому о благополучной сдаче вашего ЕГЭ».

К вере приводит горе. Наш класс был сплошное горе, горе удалое. И многие уверовали в чудо, когда мы все сдали ЕГЭ и почти в полном составе поступили в Муху.

А дело в том, что в девяностые годы рождаемость в стране упала, многие роддома за невостребованностью закрывались – и будущим мамочкам так и говорили: зато вашим детям легче будет поступить в институт.

Сдав ЕГЭ, хотелось дать клятву: «Я обещаю отныне и вовеки быть счастливой и забыть про косинусы!» («Косинусы и синусы – это вам не Достоевский!» – говорил наш математик в средней школе.)

А впереди было лето и праздник выпускников – знаменитые «Алые паруса».

Алые паруса и голая правда

Тысячеглавая набережная. Не каждая Ассоль может подойти к берегу. Отчаянные девушки карабкаются по стенам зданий, усаживаясь на карнизы окон. Гремит салют. Из белой ночи выплывает корабль с полыхающими алыми парусами. Плывет очень медленно. Но...

Он никогда не остановится у наших берегов. Не заберёт нас. Не снимет с окон. И капитан Грей никогда не скажет: «Вот, я пришёл. Узнала ли ты меня?»

Нет, не скажет. Потому что корабль плывёт всегда мимо и всегда без Грея.

И поэтому набережные Невы в этот час, скорее, напоминают взбесившуюся Каперну.

Существует городская легенда, как однажды в ожидании корабля выжившие после ЕГЭ выпускники шумной ордой сучали на Дворцовой площади, слушая речи отцов города. И тут вдруг на сцену неожиданно вышел один из инициаторов введения в школы этого самого ЕГЭ...

Дальше – катастрофа. Кто-то выкрикнул в адрес реформатора слово из сниженной лексики – и вмиг, подхваченное дружным хором нарядных выпускников, оно уже несло над Невой...

Кстати, это слово, в менее торжественной обстановке, я слушала каждый вечер.

Ближе к полуночи откуда-то сверху доносилась автоматная очередь: «Ты с..., ты с..., ты с...» – короткая перезарядка и снова: «Ты с..., ты с..., ты с...»

Время спустя появились нововведения: стали бить по батареям ногами (как по орга?ну с педальной клавиатурой). Регистры труб гудели. И этот орга?н под управлением какого-то падшего ангела становился всё мощнее и, казалось, будил совесть всего дома. Просыпайтесь, сволочи! А то спите, будто вам и вспомнить нечего. Давайте грехи считать!

И вот однажды утром народ, спускающийся по лестнице, увидел свою совесть: эта была седая голая женщина лет восьмидесяти, живущая в квартире номер семь. Безобразна, как правда. Оскорбительна, как правда. Она тоже спускалась куда-то со всеми вместе, затем остановилась, обернулась и начала кричать всем правду в лицо: «Ты с...!»...

Тут её и повязали.

Дом остался без совести. Дом стал спать спокойно.

Впрочем, этот сюжет здесь лишний. Надо выкинуть...

А, пусть остаётся.

Человек из Сходни

Под его фотографией загорается зелёная галочка – он вернулся домой и включил скайп.

– Привет.

– Привет, что делаешь?

– Живу. В Москве. В Сходне...

– А грустный, как будто звонишь из Безысходни...

– Сегодня утром я вышел из дома вместе с тобой. Мы шли по улице. Шли к станции. Там уже начинается лес, и ты сказала: «Как хорошо здесь!» Долго ехали в электричке, ты смеялась. Уже на улице ты опять начала бегать и толкнула меня в бок. Я совсем не сердился. Потом мы пошли в супермаркет и долго что-то выбирали, ты была спокойная...

– Тогда это была не я!

– Нет, это была ты, мы всё время беседовали с тобой, ты соглашалась.

– Точно не я!

– А на остановке я представил, как обнимаю твою шубу и шапку. Так хорошо встречать тебя на вокзале. Вообще встречать, где угодно. Я каждый день гуляю с тобой. А тебя нет. Ты пишешь про Муху? Обязательно напиши про музу, которая ходит справа.

Муза ходит справа

В Мухе по левой стороне парадной лестницы несётся туда-сюда толпа студентов и абитуриентов, а на правой – никого.

Там ходит муза, предупредили нас. Не рискуй, можно наступить музе на ногу. Потом не поздоровится. Музы обидчивы.

А путти на фонарях очень любят цветы, конфеты и банты, их ладошки и пятки заласканы до блеска – это идола всех абитуриентов и сдающих экзамены. Языческие отголоски.

Я хотела поступать на книжную графику, потому что с восьми лет работала иллюстратором маминых книг. Это было легко: рисуешь, тебя хвалят, а потом в издательстве выходит настоящая книга. В книге были мамыны слова и мои рисунки.

– Прости, я плохо подготовила мир к твоему приходу, – говорила мне мама на одной из страниц.

Это правда. Мир был подготовлен плохо. Можно сказать, что в 1995 году я застала его врасплох.

– Жить можно только в воображаемом мире, – говорил папа.

Так и жили. Писали, красили, иллюстрировали.

И поэтому я решила поступать в Муху на книжную графику. Но после того как на консультации меня попросили стереть у русалки хвост и дорисовать две ноги, я поняла, что тут у меня не заладится.

На монументалку идти по папиным стопам? Не женское это дело, сказал папа.

Мебель? Но ничего личного у меня к мебели не было, разве что дома у нас на баночках гороха «Бондюэль» покоился старинный стол – ещё от прабабушек... Это было странное сочетание, и гости не понимали, что это – дизайн или наш стратегический запас: в случае стихийного бедствия кто куда, а мы к баночкам «Бондюэль». На самом деле – стол был просто низкий, и баночки гороха его «возвышали»; это была временная опора, которую позже сменили баночки с персиками.

Как-то раз (дело было ещё в школе) ко мне пришёл Артём – помогать с алгеброй («Любовь – это помогать ей перед экзаменом». Значит, то была всё же любовь?). Он увидел эти баночки с персиками и сказал:

– О, у вас перестановка!..

В общем, перебрав все факультеты, я остановилась на художественном текстиле.

– Будешь работать на заводе – ковры ткать.

– Не буду.

– Будешь шторы расписывать.

– Не хочу.

– А чего ты хочешь?

Хотелось рисовать русалок.

– Художнику всё равно что портить, были бы краски. А рисовать можно на чём угодно: на дереве, на бумаге, на ткани...

Это правда.

Между прочим, кузнецы сегодня называют себя художниками по металлу, столяры – художниками по дереву, портные – стилистами.

И все вместе – дизайнеры. Блин.

А вот во времена Штиглица нас бы называли «учёными рисовальщиками»...

Пряха судьбы

Её зовут Макошь. Языческая богиня земли и ткачества. Великая ткачиха пряла не только пряжу, но и нити человеческой судьбы.

Свою судьбу она тоже устроила, спряла. На орнаментах древнерусских вышивок Макошь изображена с протянутыми к небу руками. Небо – её муж, бог-кузнец Сварог. Земля держит небо, небо держит землю – равновесие мира происходит через прикосновение этих влюбленных, говорят мифы. Красиво говорят.

Иногда она держит птиц. Это её сестры-помощницы – Доля и Недоля.

Сейчас таких богинь в огромном количестве выпускает наша Академия Штиглица.

Я заправляю ткацкий станок. Кручу вал. Протягиваю нити основы в ремизки... закрепляю на переднем валу... отматываю. И когда вертикальная система нитей уходит куда-то за горизонт огромного ткацкого станка (это только мне неинтересно или всем?), начинаю ткать, впуская первую синюю нить утка? сквозь основу. Чувствуя себя то Макошью – богиней ткачества и распорядительницей судеб, то просто ткачихой, спустившейся с антресолей.

Идёт неспешная размеренная работа. Ткацкая пуста. И, кажется, можно услышать, как дышит пыль. Под равномерное её дыхание я тку гобелен. Челнок снуёт из стороны в сторону, пропуская уток через основу и погружаясь в сон. В вещий сон вещей.

Вещий сон вещей

Я выхожу из Соляного городка, иду к набережной Фонтанки. Там обычно стоит женщина, кормящая чаек.

Чайки очень любят сильный ветер. Больше чаек сильный ветер любит только моя мама. Чайки начинают летать, лавируя между потоками ветра и время от времени замирая. А мама говорит, что взлететь можно с помощью ветра и шляпы. Она уже летала так однажды во сне в Кишинёв. На следующее утро звонили знакомые: «Ты была в Кишинёве?! Тебя видели!..» Значит, и правда летала. Раз люди видели.

Седая женщина в красном плаще кормит чаек хлебом. Но чайки не могут оторваться от ветра. А ветер, мешая хлебным крошкам попасть в Фонтанку, относит их на асфальт к ногам женщины. Их подбирает пара голубей.

Женщина настырно кидает хлеб чайкам.

– Не едят! Не едят, глупые! Обжоры вы! Вы две обжоры! – кричит она голубям и переводит взгляд на меня. – На! Держи! Ты корми! Я устала.

Стою одна посередине Пантелеймоновского моста, увешанная тубусами, рюкзаками, папками, держу буханку хлеба. Кидаю мякиш этой красивой паре голубей. Но тут вместе с ветром на них нападают чайки. Нападают на нас троих. Жирные чайки отнимают у меня буханку.

Лучше бы они отняли у меня тубусы, рюкзаки и папки.

Жирные чайки злорадно дербанят свой трофей. А та пара голубей исчезла...

Если бы сейчас мимо пролетела моя мама в шляпе, то это был бы уже сон...

Доля-Недоля

– Смотри. – В скайпе включается значок видео.

Он показывает мне карниз окна, усеянный ячневой крупой, и двух голубей. Я узнаю? их.

– Это мои голуби! Я их вчера на Фонтанке кормила!

Это не удивило его. Мы привыкли находиться в этой двухкомнатной воображаемой квартире Москва – Питер, кормить одних и тех же голубей и притворяться, что нам нужны поезда, чтобы встретиться. Я вновь почувствовала себя Макошью. С двумя голубями в руках.

...В одном из поверий говорится, что Доля прядёт пряжу для Макоши, Недоля тоже прядёт, но плохие нити у неё получаются, и время от времени ей приходится их обрезать.

А где Доля и где Недоля – поди знай. Сидят воркуют.

В следующей главе лучше пойти на исповедь.

Исповедь

Минуя Марсово поле и Летний сад, перехожу Пантелеймоновский мостик и оказываюсь на исповеди.

– У меня с моей матушкой разница девять лет, – говорит батюшка. – И то бывают размолвки. Тебе нужно найти ровесника. Вы должны вырасти на одних фильмах, слушать одну музыку, читать одни книги.

Я смотрю на батюшку козой: блин, он ничего не понимает в моей жизни.

Найди себе ровесника. Ровесник Артём был человеком-оркестром. Он играл хеви-метал на гитаре, барабане и гусях. Тяжёлый металл. Тяжеленный. И когда он лупил по струнам, было ощущение, что во всех городах поезда? сходят с рельсов – и это всё в одной моей голове.

– Тебе нравится? – спрашивал он.

Это был древний ужас с картины Бакста, где мир рушится, остаётся лишь богиня любви Кора с синицей в руках.

А у меня в руках был клубок синих ниток и два голубя.

Батюшка бросает взгляд на тубус у меня за спиной и спрашивает:

– А кто он по профессии?

– Писатель.

Батюшка вздыхает:

– Тебе нужен муж из другой сферы. Может быть, учитель там или инженер... А лучше врач.

И батюшка неожиданно добавляет:

– Ферштейн?

Ага.

– Подожди меня здесь, – говорит батюшка и духом уносится за алтарь, оставив меня с открытым финалом.

Врач – это, конечно хорошо. И я знаю одного такого врача. Это Миша.

С Мишей мы знакомы с детства. Вместе собирали динозавров. Он не давал мне играть в плейстейшен и жалел домашнего компота.

А теперь я его вообще не вижу. Он учится на врача, читает энциклопедии всех времён и народов, а по ночам работает на «скорой», присутствуя в моей жизни лишь в рассказах Заремы, его мамы:

– Я говорю ему: Миша, ты не выдержишь, бросай эту работу; а он отвечает: а кто же будет их всех спасать?!

Миша – тот самый Ловящий Во Ржи. Ловит детей, бомжей и всех остальных в придачу.

Миша всё знает. И может спросить меня, когда отменили крепостное право. И я засыплюсь.

...Батюшка выносит чашу со святой водой и окропляет моё лицо.

– Всё! Воскресла! Побежала!

И я побежала в Муху.

Бегу, а навстречу мне мчится солнце на самокате. Зажмуриваюсь. Солнце обнимает меня.

– Привет! – говорит мой солнце-ровесник.

Забыла сказать, что мальчики, конечно, тоже учатся у нас в академии, но их можно отнести к существам мифологическим. В том плане, что они существуют, но увидеть их может не каждая.

– Знаешь! У меня будут жена и дети! А я буду рисовать подсолнухи! Идём, я знаю хорошее место, где продают вкусное печенье! Но я забыл, как оно называется! Оно с сыром! Идём! Тебе понравится!

И мы пошли есть печенье, а не в Муху.

И муза справа плюнула нам вслед.

– Слушай, а ты уже была в Эрмитаже? – жуя печенье, спросил мой друг-ровесник.

– Я там с пяти лет.

– Да нет!.. Там же выставка современного искусства!..

– Не интересуюсь.

– Да ты что!.. – закричал мой восторженный друг. – Я был уже три раза! Это грандиозно! Сегодня последний день!..

И мы пошли в Эрмитаж.

И муза опять плюнула нам вслед.

Ветрянка-10

Это было похоже на заражение какой-то болезнью. Сначала пошла реакция – Эрмитаж покрылся прыщиками (арт-объектами). Потом пошло раздражение – он начал чесаться и кричать:

– У меня Ветрянка! Ветрянка-10! Приходите на меня посмотреть!

Болезнь атаковала весь город.

Эту выставку продлевали, продлевали – и в последний день очередь из людей была похожа на длинную кишку, заворачивающуюся узлами по всей Дворцовой площади. (В последний день вход на выставку был бесплатным.)

Всю эту толпу ненавидел один человек.

Толпа протягивала ему свои вещи. Он носился от вешалки к вешалке – так, что было видно только летящие в его руках плащи и куртки. Гардероб находился в

самом низу, одна лампа мигала, создавая небольшой полумрак, и гардеробщик походил скорее на Гермеса, принимающего души-куртки в загардеробную жизнь.

– Мест нет! – в бессилии кричал он. – Нет! Куда вы все идёте?! Вчера не могли прийти?!

А дальше он стал говорить мне (почему-то мне):

– Мужик пришёл с дамой в шиншилях, пришёл в шубе, говорит: «Повесь мою шубу». А чего он пришёл? Вчера сто рублей не мог заплатить? Пришёл с дамой, когда бесплатно. А я на ту выставку принципиально не поднимусь. Вот у нас тут трубу прорвало, все говорят: «У вас трубу прорвало», – а если я им скажу, что это современное искусство, так они рядом фоткаться начнут!..

– Так, – прерывает монолог гардеробщика мой спутник. – Ты будешь на его трубу смотреть, или мы всё же пойдём в зал?

Честно говоря, я бы просто послушала гардеробщика.

Первой на выставке нас встретила Венера с родинкой от Монро, выкрашенная в дикий розовый цвет и тем утратившая своё мраморное благородство. Под ней была табличка, которая гласила, что автора волнуют «остросоциальные темы, связанные с вопросами современных СМИ и сексуальности».

– Ну, это к Фрейду, – усмехается кто-то рядом.

Идём дальше. Автор другого шедевра, сообщают нам, вдохновлён «таинственным символизмом» мультика «Том и Джерри» (вообще он делал эту работу как подарок своей дочери, но потом «работа ещё обогатилась новыми смысловыми оттенками»). То есть до нас эта работа дошла переполненной смыслами. Вхожу в предвкушении. Темнота. Музыка. И светящаяся дырка в стене. «В ожидании Джерри» называется. «Возможно, он когда-то появится...»

Простодушные ищут изъян в себе: «Я плохо разбираюсь в искусстве. Эту работу надо смотреть в контексте. Ведь она всё-таки находится в Эрмитаже...»

И вот тут уже к Пиотровскому. «Михаил Борисович, а папа знает?!»

(Папа, Борис Борисович Пиотровский, был предшественником своего сына и, как говорят старшие товарищи, ревностным хранителем традиций Эрмитажа. Ну, по крайней мере, таким его помнят.)

А всё началось с Энди Уорхола, после выставки которого в 2000 году Эрмитаж потерял невинность.

Я помню эту выставку. Мне было пять лет. Мы вместе выставались (звучит, да?). Это была первая выставка наших детских работ в одном из залов Эрмитажа, по соседству с Энди, но собственная слава в моём сознании затмила славу Уорхола. Помню только, что взрослые говорили почему-то не об Уорхоле, а о Пиотровском, типа: ну Пиотровский ваще-е!..

– Идём! – тащит меня мой ровесник. – Там дальше «Вагон»!..

Нашумевший «Красный вагон» Ильи Кабакова. Он «работает в жанре тотальной инсталляции». Уже страшно. Инсталляция посвящена становлению, развитию и распаду Советского Союза.

Народ табуном хороводит вокруг вагона, постигая изо всех сил...

На выходе мы увидели, что кто-то фотографирует ту самую аварийную трубу гардеробщика – одного умного на этом корабле дураков.

А на улице мой друг, будущий искусствовед (кто-то создаёт искусство, а кто-то им ведает), с пеной у рта, горящими глазами и беспорядочными взмахами рук объясняет мне всю великость инсталляции Кабакова: какая гениальная идея, какая мысль! Как точно автор раскрывает причину распада СССР!.. Мой друг вдохновенно сыпет терминами, но когда он прерывается, чтобы перевести дух, я спрашиваю его:

– Тебе понравилось то, что было внутри «Вагона»?

Мой спутник застывает и с изумлением восклицает:

– А что, можно было зайти внутрь?!

...Нет, мне не нравится современное искусство. И ровесники не нравятся, батюшка. И печенье, кстати, тоже не очень...

Мне нравится Козин: «Не уходи-и, тебя я умоля-яю...»

– Потому что ты какая-то советская! – мстительно говорит мой ровесник.

Гагарина не видела, но я его люблю

– В моём детстве были совсем другие банки сока. И вкус был лучше. И по цене дешевле. Помнишь? Магазин на углу 6-й линии? Двадцать рублей стоило. Или меньше? И, мне кажется, натуральнее было.

Я остановилась, удивившись, с какой легкостью вырвались из меня эти слова. Это было так естественно, что моя подруга не заметила, как мы разминулись в веках. Такие разговоры я слышала только от своих родных древних греков и их друзей, таких же древних греков, определяющих время по палкам. Чьё детство прошло под знаком улыбки Гагарина. Люди чёрно-белого кино.

Мама любила с усмешкой повторять, что «советские мужчины были лучше. У них было очень много свободного времени, а свободное время располагало к мечтательности, стихам и всяким крамольным мыслям, которые так нравились девушкам. И советские девушки были лучше: им нравились эти советские мужчины».

А советский мужчина папа всегда искал в ларьках с мороженым эскимо на палочке, и чтобы обязательно обернутое в фольгу. В детстве я смотрела на папу и не понимала: ну как можно фанатеть от такого дурацкого мороженого? В нём нет ни сгущёнки внутри, не шипучки, оно не красит язык в синий цвет...

Зато я до сих пор покупаю жвачку «Лав из...». И мне нравится чёрно-белое кино. И человек из Коктебеля.

Человек из Коктебеля

В сентябре в Коктебель в Дом Волошина едут гости. Хозяина нет дома, а они едут и едут. Потому что однажды он их пригласил: «Войди, мой гость, стряхни житейский прах...»

Вот и входим. Весёлой радостной гурьбой читать стихи и пить крымское вино.

– Почему ты уехал тогда из Коктебеля?

– Чтобы ты меня заметила.

– Я заметила тебя в первый же день. И мысленно назвала тебя «иностранцем».

– Почему?

– Не знаю. Потому что у тебя очки.

– При чём здесь очки?

– Ты был в очках, ты был угрюм, ты был вне доступа.

Новость о его отъезде застала меня на семинаре по прозе. В одну минуту я возненавидела всех прозаиков, читающих в это время свои рассказы. Особенно господина С., который затянул какую-то историю о поездах из Москвы в Питер, о бессонной ночи и о том, что он так и не узнал имя той прекрасной девушки. Может быть, сюжет был несколько иной. Но мысль автора просвечивала через каждое слово. Это была мысль о единственном, неповторимом и многогранном его «Я».

Этот человек был многогранен как стакан. В который то и дело наливают водку.

Вечером я сидела в кафе, на столике стоял айпад и молочный коктейль.

На экране айпада был Человек Из Коктебеля, превратившийся в Человека Из Скайпа.

Со стороны могло показаться, что я кокетничаю с молочным коктейлем.

Свой чужой

Выхожу из дома, сталкиваюсь с соседом.

– Ты чё, обои несёшь?

– Ага, картины.

– Ты в Штиглице учишься?

– Да.

– Я был там. День открытых дверей.

– Был в музее?

– Нет, он был закрыт.

Характерная черта Мухи: двери открыты – музеи закрыты. «Вы кто такие? Куда? Какой музей? Написано же: “закрыт”!»

– Но в Молодёжном зале был?

– Да, походил. Хорошо, конечно, но жалко, что упадок...

– Как – упадок?! Только ремонт сделали.

– Всё равно упадок. Разваливается всё...

– Пергамский алтарь видел?

– Видел... Что сказать. Жалко. Я во дворе был – всё сыпется, грязно, неопратно...

«Грязно» – это, наверное, смальта, стекло: благородный рабочий материал из мастерских.

Это как земледельцу сказать, что у него земля грязная под ногами валяется.

Или на вопрос: «Как вам картина?» – ответить: «Ты знаешь, я посмотрел с той стороны – подрамник кривым гвоздём прибит! Ржавым!»

Беспечально прощаюсь с соседом. Иду дальше. На плече папка, на спине рюкзак с красками, ещё один рюкзак с пряжей, в руках те самые «обои». Шагаю по Итальянской, прохожу мимо Тургенева, одиноко сидящего в сквере. Неподалёку от него – фонтан, окружённый скамейками, которые никогда не бывают пустыми. У Тургенева всегда безлюдно. С фонтаном людям проще.

Иду вперёд, к улице Караванной. Там находятся сразу два кинотеатра: «Родина» и «Дом кино». Висит огромный плакат: «ЛЮБОВЬ. НОВЫЙ ФИЛЬМ. ФРАНЦИЯ».

Складываю желание посмотреть этот фильм в рюкзак с красками.

– Мы уже смотрели его. Ужасный фильм! Чуть не сдохли от скуки. Про двух стариков. И они весь фильм молчат! Ходят. Болеют. И молчат. Ве-есь фильм. Мы думали, там про любовь... Не советую. Мы взяли билеты на «Изгнание костей дьявола», пойдёшь с нами?

Не. Я лучше тут посижу. У фонтана. Есть что послушать.

Или у Тургенева, здесь всегда пустые скамейки. И есть о чём помолчать. И не согласиться.

Торжествующий гений

В Петербурге есть река Пряжка. Она течёт мимо сумасшедшего дома. Здесь пряли и сходили с ума.

А ещё есть улица Шпалерная. Здесь ткали шпалеры и тоже сходили с ума.

Но я хожу в Муху по улице Пестеля, которая рядом со Шпалерной. А в Союз художников – по улице Большой Морской. Когда-то её называли Бриллиантовой: здесь жили и торговали бриллиантовые люди, в том числе и Фаберже.

И над ними парил крылатый Торжествующий Гений.

Точнее, он парил над зданием Императорского общества поощрения художников.

Ныне это здание принадлежит Союзу... Как сказать, чтобы избежать тавтологии? Кто бог у художников?

– Аполлон.

– Какой Аполлон?! Бахус у них бог!

Ладно. Ныне, значит, это здание принадлежит Союзу художников. Что логично. Но скульптуры нет. То есть ни гения, ни торжества.

А в начале XIX века на первом этаже этого здания жил генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович. Жил до тех пор, пока на Сенатской площади его не убила сволочь.

Это не я сказала. Это сказал Василий Жуковский: «Какая сволочь! Чего хотела эта шайка разбойников... Презренные злодеи, которые хотели с такой безумной свирепостью зарезать Россию!...»

«Презренные злодеи» – это декабристы.

«Граф М.А.Милорадович, любимый вождь всех воинов, спокойно въехал в каре и старался уговорить солдат; ручался им честью, что государь простит им ослушание, если они тотчас вернутся в свои казармы. В эту минуту пули Каховского и еще двух солдат смертельно ранили смелого воина, который в бесчисленных сражениях и стычках участвовал со славою и оставался невредимым; ему суждено было пасть от русской пули».

Я живу недалеко от улицы, названной именем убийцы. Точнее, это переулок, всегда безлюдный и тёмный.

А находится он на острове Декабристов.

Клубок из тёмных нитей улиц и переулков. Название – Земля.

Здесь прядут и сходят с ума.

...А Торжествующий Гений парит. Просто облаком выше.

Тук жизни

– Ну, черти полосатые, что ж вы пишете-то?! Я специально такую тряпку вам повесил!.. Да это не тряпка – это подарок судьбы! Писать чёрный надо вот так!.. Чтоб звенел! Чтобы черти боялись!

Наши любимые преподаватели... Они нам нравятся. А мы их просто бесим.

– Вы бедного Давида замучили уже! Где затылок у него, я вас спрашиваю? Вы же его без мозгов оставили. У него лицо по золотому сечению, а ты яблоко вместо головы нарисовала. Идите все замуж! Нечего вам тут делать!

Мы замучили не одного Давида. У нас ещё были Гомер, Август... Благодаря Давиду я научилась правильно рисовать нос. После такого успеха его нос

изображался на всех портретах. (Даже у Афродиты.)

Августа я терпеть не могла. Три презрительно поднятых подбородка. Зрачков нет. А всё равно видно, что поверх твоей головы смотрит.

– Раньше в Мухе учились одни мальчишки. Сегодня – одни девчонки! Что изменилось в мире? Войны не будет? Это хорошо. Но проблемы будут у Гименя. Та-ак... Только цветочки будете нам рисовать? Зачем миру столько цветочков?!

Нам советуют идти замуж, и мы спускаемся в ткацкую. Плести судьбу.

Зубчатое деревянное животное с торчащими из брюха колёсами и выпадающими изо рта нитями смотрит на нас устало. Многовековая усталость.

– Он немного скрипит... а что вы хотите – девятнадцатый век. Надо проникнуться. Ткать на нём тяжело, но потом вы перейдёте на новые станки. Вот, например, наш новый финский станок...

Деревянный белокурый финн глядит на нас весело. Похож на сказочные качели. На нём можно соткать ковёр-самолёт.

Станки заняты. Очередь. В ожидании своего часа занимаемся ручным ткачеством. Стучим вилками, прибивая нить к нити. (Вообще-то для этого есть специальные колотушки, но нам ближе вилки.) Мы похожи на семейство дятловых, а не на богинь Судеб.

Уже начался апрель, и кусочки света, отрываясь от оконной рамы, скользят по стене, смущая и искушая счастливой долей.

– А Аню правда из Мухи выгнали?

– Ага.

– Кошма-ар.

– Кошма-а-ар, – подхватывает хор голосов.

– Ничего не кошмар. Я в интернете видела – у неё своя школа танцев, палантины красивые делает и продаёт, парень есть...

Ткацкие вилки затихли.

– А что мы вообще будем делать после Мухи? А? Фабрики закрываются... Парусинка Штиглица травой поросла...

– Та-ак... Девочки, работаем, не болтаем, не отвлекаемся! У нас завтра обход.

Текстильный городок снова оживает, набивая свой ритм.

«Надежды маленький оркестрик под управлением любви» стучит вилкой по пряже, как голодный ребёнок по тарелке: кто-то отбивает барабанную дробь, кто-то перебирает нити руками, как струны арфы, а кто-то проводит вилкой поперёк натянутой основы, получая гитарный звук: «тру-у-ум, тру-у-ум. Тук-тук-тук-тук-тук...»

Всё это вместе составляет единый неравномерный тук жизни.

И вообще – есть ли жизнь после Мухи?

А будущее – по самочувствию

На Руси пуповину разрезали на прялке. То есть от рождения и до замужества девушки были привязаны к прялкам – ткали приданое. Вот откуда это обманное чувство, что свобода начнётся, когда нитки кончатся.

Русские дома все прошиты деревянным узором – ставни, наличники, крыши, двери... На деревянном наличнике сидит русалка: округлая, весёлая и по выражению лица совершенно глупая. Она держит цветок, но не для того, чтобы понюхать или показать нам, – она его держит как щит, всей мощью своей огромной ладони; и даже не цветок, а, скорее, она сжимает какой-то куст,

сгусток жизни. (А может, веник для бани: дом на Руси начинали строить с бани.) На шее висят тяжеловесные бусы, ниже изображена грудь, как два весла, то есть не как объект красоты или вождения, а как тяжёлая ноша. Не русалка, а Мать-Земля. Ударит хвостом по лбу непрошеного гостя – и всё.

А в доме тоже узоры: печи, посуда, корзины, прялки...

...Прялка, пряжа, прядь. То есть во?лос, нить, судьба. Макошь? Нет, не Макошь. Марья. Сидит в избе, сгорбленная. Прядёт приданое. Прядёт, прядёт. А замуж только сёстры выходят. И снова колесо крутится, нитки наматываются, день ночь сменяет. Смотрит она на эту прялку – и ненавидит и узор сказочный, и пряжу, и нитку, что рвётся беспрестанно...

И сидит Марья, Макошь... или это я уже сижу? И смотрю на своё ткачество. И через пустые, ещё не затканые нити основы вижу: двух Насть, Юлю, Аню, Амину... Мы остались в ткацкой на ночь: на днях опять обход. Но мысли наши далеки от нас. Настя хочет в Кемерово, другая Настя – к любимому в Йошкар-Олу, Аня хочет красить живопись, Юля хочет славы, но ещё не знает, как её запрячь, но много молчит, и поэтому всем кажется, что знает.

Мысли Амины дальше всех – в горах...

– Угощайтесь, девочки: пахлава, чак-чак, варенье, виноград, гранаты. Я уже объелась. А мне завтра ещё привезут.

Ткачихи жадно разбирают угощение. И вилки, которыми они набивают пряжу, обретают своё истинное назначение.

– Обход, ещё обход, а дальше-то что? Меня тревожит будущее.

– Будущее, будущее... Будущее – по самочувствию.

– Сдадим обход, закончим институт, застрелимся и улетим в Казахстан.

– Почему в Казахстан?

– Там Байконур. Можно полететь ещё дальше.

– Или поедem в Парусинку, восстановим фабрику Штиглица, соткём паруса – и в добрый путь.

Парусинка

Парусинка. Парус. Пар. Рус... (Может послышаться «паутинка» – и тоже неспроста.) Бывшая суконная и льнопрядильная мануфактура Александра Штиглица... Здесь делали парусину для русского флота. Такой фабричный остров между Ивангородом и Нарвой: фабрики, похожие на замки... Ротонды, шпили, арки, колонны...

Сейчас на улице Текстильщиков не встретишь ни одного текстищика. Повсюду руины, непригодные для жизни. Только для живописи. Фабрики закрыты. Город начинают населять кошки, подруги бедности.

Осталась одна-единственная преданная прядильщица. Она стоит на центральной площади разрушенной эпохи – советская белокаменная девушка. В ситцевом платье и платочке.

Время выбило из её рук веретено. Ветер нескольких десятилетий унёс все нити. Когда-то это был памятник Доле. Она пряла нить. А за спиной её работал огромный дворец текстильной фабрики.

Две голубки сели ей на плечи. Паук сплёл паутинку от руки до руки. Но в его сеть попадают лишь капли дождя. С перевернутым отражением Доли-Недоли.

У текстильщиков бытует коронная фраза: «Всё спасают кракелюры». Если что-то не удалось – закракелюрь.

Это когда неудавшийся батик покрывают горячим воском, снимают с подрамника и начинают мять как врага своего. Затем берут губку и в заломы втирают краску любого цвета. И получается – гром, молния, красота.

Если жизнь не удалась – можно её закракелюрить.

Модели

Студенты блуждают по коридорам вместе с богами, спускаются по мраморным лестницам вместе с музами, а в туалет ходят вместе с Екатериной II: пышный кринолин, серебряные подвески и съехавший набок белый корабль-парик входят в тубзик.

– Девочки! Пропустите! Мне же вам позировать надо!

– А нам вас рисовать! – недовольно отзываются учёные рисовальщицы.

Наши модели... С каждым годом их ли?ца становятся всё живописнее. Появляется судьба и усталость. Ли?ца их закракелюрила жизнь. Усталость лучше всего для рисунка – линии, заломы, морщины, столкновение холодного цвета и тёплого...

Один из наших демонстраторов пластических поз подходит к нам и говорит:

– Знаете, что на асфальте написано?

– Нет.

– Объявления. Предлагают любовь – и номер телефона написан. Мы с женой пять лет в разных комнатах спим. Позвонить? Как позвонить? Ну, это нехорошо. Неправильно как-то... Я не могу. А везде эти объявления. А я не могу.

И не позвонит он никогда.

Зачем-то нам, студенткам, об этом скажет и пожалеет: «Зачем сказал?» – Нет, ну нужна ему эта любовь?! Он же древний грек. Вот сказал, о чём думал, и всё. А кому он мог ещё-то сказать? Жене? Учителям по рисунку? Нет. Сказал. Замолчал. Смотрит, как мы рисуем... Зал в два этажа, окна, колонны, лестницы – точка схода уходит в стеклянный купол неба.

Он идёт по нашим лестницам, один, как в пустыне, цвет лица желтоватый, одет хорошо, но худой ужасно, поэтому его моделью по рисунку и взяли: кости видны – рисовать хорошо. Вот так ходит один и смотрит под ноги...

Я не знаю, как его зовут, но ему подходит имя Аркадий.

На живописи у нас сидят женщина на шаре и женщина на кубе – Ираида и Вера. Спиной к спине, шляпой к шляпе. Как две поссорившиеся дачницы. Композиция-контраст: Ида в белом, Вера – в чёрном.

– День, ночь. Вдова, невеста. И даже не думайте использовать чёрную или белую краску! Это последнее дело, – грозно сказал мастер по живописи и вышел из аудитории.

Для сюжета Вере дали гитару. В каждом кабинете живописи валяется такая гитара: она покрашена наполовину в синий цвет, наполовину в жёлтый, и без струн. Пой, Верочка, пой!

Вера обняла гитару и тут же рассказала, что когда-то они с Идой закончили музыкальное училище.

– Ида – арфа, я – скрипка... ну, и гитарами баловались.

Вера начала перебирать воображаемые струны, напевая какую-то мелодию. Ида тоже решила «сыграть», взяв вместо арфы большую раму по ткачеству.

Когда их музыка затихала, Ида и Вера делились воспоминаниями, причём шепотом, переговариваясь через плечо, будто их никто не видит и не слышит.

Нам разговор не мешал. Мы видели в нём все цвета: и рыжий, и жёлтый, и синий, и красный... У «невесты» Иды и «вдовы» Верочки никогда не было мужей, они примеряли на себя эти роли только на живописи.

В гости зашла обнажёнка Аглая. Накинув на себя красный китайский халат, Аглая позвала дачниц пить чай с вафлями.

– Пошли, девчонки! Андрей Петрович варенья домашнего принёс!

У моделей есть свой обеденный уголок, где за одним столом сидят Пётр I, Зевс, Дама с собачкой, пират и русалка. Они поровну делят вафли и макают их в банку с малиновым вареньем, которую принёс Аполлон Андрей Петрович.

И за всей этой вполне выносимой лёгкостью бытия следит белый мраморный барон Штиглиц. Восседавая в Молодёжном зале на своём мраморном троне, он улыбается: иногда иронично, насмешливо, иногда тепло, по-дружески, – всё зависит от нашего прилежания.

В музее

Петров-Водкин. «Играющие мальчики».

– Ну что тут такого в этой картине?

– Композиция! Посмотри, как взяты пятна по массам, – сказка! А цвета? Это же открытый цвет! Попробуй его так взять – ничего не получится! Смотри, зелёный и охра поют! В то время это переворот был.

– Переворот был у Матисса в «Танце». Тоже голые, тоже пляшут, и цвета поют. Красный, жёлтый, синий.

– Здесь ещё внимание к рисунку.

– Голышня какая-то.

– Высокохудожественная голышня!

– Мне больше нравится натюрморт «Бокал и лимон». От него всегда тоской тянет и морем.

Мой внутренний цензор – это, наверное, такая маленькая целомудренная старушка, которая всё время сидит за ткацким станком. Вот так, значит: сердце, почки, лёгкие и маленькая старушка.

В одном из залов Русского музея я встретила такую же старушку. Она сидела в углу второго зала и, видимо, с самого утра ждала меня. И бросилась ко мне с надеждой:

– Фотосъёмка запрещена! Девушка!..

– Я записываю.

– Нельзя, девушка, нельзя!

– Что нельзя?

– То, что вы делаете!

– Я записываю имя художника и название работы, – показываю на табличку, у которой стою.

– Нельзя-я-я!

– Почему?

– Это частная собственность. Временная выставка, вы понимаете?

– Мысли свои записывать можно?

– Свои... но если свои... Нет. Тут никто так не делает!

Это могло бы польстить, конечно.

– Записывать на выставке запрещено!

– Почему?!

– Потому что это чужая собственность.

Она была похожа на маленького сухого цаплика из серых шерстяных ниток. Юбка-карандаш, рюши на рукавах и пучок-тыковка на голове, тоже будто из шерсти. Я пошла в третий зал... Цаплик остался, заключённый в маленький квадратик зала с чужой собственностью. И продолжал беспомощно взмахивать крыльями и повторять: «Нельзя! Не знаю... Просто нельзя!»

Ему очень хотелось проследовать за мной, но он только упирался в открытую дверь второго зала, не смея пройти: нельзя! – в третьем зале зона его контроля заканчивалась.

Тут на стульчике дремала женщина в костюме из белых подушек. Очень приятная спящая женщина.

Вокруг были картины последователей Петрова-Водкина. В центре висел автопортрет самого мастера. Я подошла к нему и долго смотрела. Ждала, когда мой затылок отпустит пристальный взгляд Цаплика. Этот взгляд блокировал мои мысли. Я чувствовала себя Давидом. С яблоком вместо головы. Кузьма Сергеевич посмотрел на меня:

– Ну что, Муху прогуливаешь?

– Ага.

– Ну тогда рекомендую велосипед...

Марк и Кузьма

То, что Петров-Водкин учился в Академии Штиглица, о чём с гордостью говорят все преподаватели, – это правда. Но они не говорят другую правду. Что он бросил нашу Муху, укатив сломя голову на велосипеде за горизонт.

– Мейн готт, мейн готт, какое приключение, как вы не способны к аккуратности, молодой человек!.. – говорили Кузьме преподаватели. – Это не есть технический работ! Вы никогда не будете прикладной рисователь!

И это была правда: с черчением у Кузьмы было «никак не хорошо есть».

Кузьма говорил, что ему легче умереть, чем справиться с рейсфедером, и готовальня была для него орудием пыток.

А вот живопись у Кузьмы – «дас ист зер гут».

Но школе технического рисования нужны были не живописцы, а именно «прикладные рисователи». И поэтому построенные во времена барона Штиглица фабрики, заводы и водонапорные башни похожи на замки и крепости.

Но Кузьма был другое дерево. Жёлто-красно-синее.

Кузьме предстояло переиначить земное пространство.

Но чтобы понять, как это сделать, ему надо было увидеть Землю. Увидеть, что? там – за Соляным городком, Фонтанкой, Невой, ему нужно было пересечь линию горизонта и убедиться, что она может располагаться на его картинах где душе угодно...

Тогда он садится на велосипед и отправляется в путешествие. На другой транспорт у него денег не было. Да и тот велосипед был подарен ему московской фирмой – для рекламной поездки.

И пока Кузьма изменял линию горизонта в Москве и Европе, в холодном Петербурге перед Марком Шагалом закрылись двери Академии художеств. А затем и школы Штиглица.

Позже он писал: «Тогда в Академию художников меня не приняли, наверное, за то, что я не мог хорошо рисовать коленки».

Наверное, ему сказали:

– Идите со своими селёдками! Или пририсуйте им ноги!

И он поднялся в небо и улетел с Беллой и селёдками обратно в Витебск. Но это на картинах. А на самом деле он поступил в рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств, возглавляемую Николаем Рерихом.

«Сколько я ни занимался в школе Общества поощрения художеств – всё впустую. Там ничему не учили. Наш директор Рерих сочинял неудобочитаемые стихи... Два года ушли даром. В классах холод. Пахло сыростью, гончарной глиной, красками, да ещё кислой капустой и затхлой водой из Мойки...»

Марк пожизненно таскал свою вину за собой – он грешил, а картины говорили: «Прости, Белла! Мы летим вместе!», «Прости, Витебск, я скоро приеду!», «Простите, селёдки, прости, дядя Нех, я не помогал тебе их чистить, но любил есть», «Прости, мама, я мало говорил с тобой...»

Марк восходил к своей славе в Париже. И когда спустя годы прибыл в Петербург, он не почтил своим вниманием ни Репу, ни Муху.

...Сейчас Муха стала гораздо свободнее. Всем можно рисовать красных коней и летающих селёдок и ломать перспективу построения на рисунке как угодно. А петровых-водкиных и шагалов – нет. Есть только велосипеды, крепко привязанные к фонарям академии. Они мирно спят и ждут своих хозяев: когда те окончат Муху, сядут на них и отправятся ломать перспективу и передвигать точку схода на горизонте...

Очень хочется уехать на этом велосипеде – и видеть, как Муха уменьшается, скрывается из виду, становясь точно мухой, а линия горизонта не раскрывается, а становится ближе и ближе. И, приблизившись наконец к этой нити-черте, поехать по ней вдоль жизни – по этой горячей сквозной, через мосты, разводя их руками...

Ты едешь и улыбаешься. И все думают, что ты идиот. Икар на велосипеде. У тебя нет работы, тебе не хватает на краски и на еду. Надо срочно ловить рыбу, её можно есть и рисовать, ещё на ней можно улететь в Витебск или Париж.

Но позднее (когда-нибудь потом, совсем не скоро) ты поймёшь, что куда бы ты ни ехал, на каком бы велосипеде ни мчался, какую бы рыбу ты ни ловил, – над тобой всё время будет жужжать Муха.

Муха всегда будет с тобой, даже если ты об этом не знаешь.

Постскриптум

– Ты прочёл мою «Муху»?

– Да.

– И как?

– Обух, всё очень плохо.

– Как?.. Тебе же ведь нравилось начало...

– Нет, начало нужно полностью удалить. Ты путаешь времена. Ты скачешь. Ты сама себя перебиваешь. Одну главу можно превратить в двадцать страниц честного текста. Составь план.

– Но у меня же клочковатое сознание...

Я вздохнула, но листы бумаги не упали с его стола.

Тут должна пойти песня Козина. Но она не идёт. Идёт снег. Потому что февраль. И потому что «каждый пишет, как он дышит».

Я надышала.

Просто надышала.

Получился узор на стекле.

Дышу дальше...

Выгуливание молодого вина

Выгуливание молодого вина

– Сначала я был гениальным художником, потом талантливым художником, потом одарённым, а сейчас я просто пьяница.

Обычно после седьмой рюмки Игорь Ефремов выдаёт только крылатые фразы. После одиннадцатой он берёт топор и начинает бегать за Люсей. Поэтому Люся всегда знает, когда ему нужно побыть одному. Я думаю, это любовь.

– Красивых лиц нет, – говорит один художник другому. – Я специально оставил машину дома, сел в метро. И не увидел ни одного красивого лица. Понимаешь?

Собеседник трагически кивает.

Они стоят у своих полотен, с которых на них смотрят красивые девушки. Одна картина – бежевых тонов, с прикреплённым отрезком грубого льна, помятого, вымоченного и тоже покрашенного в светлый тон. И силуэт девушки, идущей к морю – или от моря. На другой картине – пять девушек, у них терракотовая кожа и чёрные волосы, они смеются и босиком идут по какой-то прозрачной глади, они веселы даже пятками и грациозны всей статью, одеты в туники и несут огромный сосуд с лицом женщины...

Красивых женщин в их жизни было очень, очень много. Но все они ушли к морю.

Картина называется «Выгуливание молодого вина».

И выставка так называется.

И вся их жизнь.

...Вино бродит, а в народе говорят – гуляет.

А гулять оно начало много тысячелетий назад. И вокруг этого гулянья, на праздниках бога вина Диониса, родились театр и все другие виды искусства. Праздники назывались «симпозиумы». Сегодня это звучит строго и учёно, а в переводе с греческого означает «пиршество», «общая выпивка». И вот эта «общая выпивка» сопровождалась танцами, песнями и театральным действием. Потом, как следствие, появились декорации...

Получение вина сродни написанию картин: сначала возделывание лозы, сбор винограда, выдавливание сока, брожение винного сусла, отжим – и, наконец, выдержка.

У кого-то получается амброзия, а у кого-то – уксус.

Я знаю человека, который выгуливает одну и ту же картину уже шесть лет (выдержка!). Эта картина – размером четыре на пять. И кажется, что она когда-нибудь оживёт, присядет за столик, возьмёт маленькую чашечку кофе, достанет коньяк из секретного места и скажет:

– Павел, перестаньте меня писать! Дорисуйте этому кентавру ноги и повесьте меня в Русском музее.

Сначала эта картина была похожа на винегрет: там преобладал розовый и зелёный. Потом туда проник синий. Потом антрацит. Настала глубокая ночь.

– Это «Пир кентавров и лапифов». Симпозиум.

Пьяные кентавры портят свадьбу Пирифоя и Гипподамии. На протяжении шести лет. Невеста меняет платье. Жених поднимает бокал.

– Нет, нет! Жених поднимает меч.

Кентавры похищают несчастных девушек.

– Нет, нет! Кентавры похищают счастливых девушек!

С левого края картины начался роман. Он перекинулся и на правый край. Кентавр целует девушке шею. Девушка прекрасна. Третья грудь намечена углём. Как бонус.

– Ты можешь уже дорисовать эту грудь?!

– Могу.

– Ты уже наметил, осталось только обвести. И ногу наметил. Всё же готово. Сделаешь?

– А зачем?

Он достаёт булочку с маком и начинает есть. Булочка с маком делает его философом.

– Что значит «зачем»? Устроим симпозиум. Игорь, как этот кентавр, поднимет седьмой бокал (топор войны спрячем). Люся наденет новый наряд – красная туника, синие чулки, жёлтый шарф, полосатые волосы... И браслеты, браслеты,

бусы, длинные серьги... На ком-то всё это ужасно. А Люся прекрасна.

На своих картинах Люся тоже идёт к морю. Море розовое и пенистое, как молодое вино.

...День сменяет ночь. Ночь – день. Приходит зима. Утро. Зелёный кентавр становится жёлтым... Идёт брожение. Картина бродит, художник бродит... Эта свадьба не кончится никогда. Кентавр поднимет семнадцатую рюмку, опасный момент...

– Я допишу картину завтра.

...Придя завтра, я увижу новый холст.

– Здра-авствуйте! Что это?!.

– «Гуляй, Псков!»

– Но ты же вчера сказал...

– Потом. Погодя.

Псков. Дорога. По дороге идёт монах, женщина с курами, медведь с пьяницей встретились у храма – разговорились, женщина с головой козы идёт в откровенном наряде, под руку её ведёт кавалер. А наверху – купола. Эта картина сотворилась за шесть дней. На седьмой день она стояла уже в раме. Амбро-озия!..

– А как же та?..

– Не приставай.

Я на стороне той картины.

Возможно, она допишется сама.

Кстати, многие его картины, потеряв терпение, так и делают.

«Не входить! Обнажённая натура»

Это две мои любимые кариатиды. Сейчас они поправят причёски и снова будут держать небо.

Вообще-то кариатиды держат не небо, а балочные перекрытия. Фриз и карниз. В детстве я не понимала, почему этот непосильный груз мужчины возложили на таких красивых женщин... Но знания пришли, «постучались в двери», и на первом же курсе, на лекции по истории искусств, выяснилось, что это – кара, проклятие древних греков жёнам своих врагов. И хотя вся эта история давно ушла в Лету, кариатиды до сих пор отдуваются за грехи своих мужей.

А вот две мои любимые кариатиды действительно держат небо. Не балки. И служат исключительно красоте. А когда-то служили доходному дому Генриха Блокка, это он на последнем шестом этаже кариатид поселил.

Я представляю это дело так (крутится чёрно-белая плёнка): выходит господин Блокк на балкон – успешный финансист, прилежный семьянин. Смотрит свысока на Невский проспект; усы, довольная улыбка, не знаю. Всё у него хорошо, нельзя посочувствовать.

И вот каждый день он любит вид, по-хозяйски оглаживает Невский, курит сигару и считает деньги. Но однажды сбился со счёта: прогорел, обанкротился и повесился. Перешёл, так сказать, на седьмой этаж.

Последние, кто видел его живым, были кариатиды.

Эти кариатиды вообще много чего видели: под ними течёт Невский, по которому сегодня плывут сплошные туристы, петербуржцы же минуют его, несясь под землёй в метро: им некогда праздновать по главной улице города, и даже бронзовый Николай Васильевич, навсегда воскликнувший: «Нет ничего лучше

Невского проспекта!» – стоит в сторонке, на Малой Конюшенной, и думает думу.

Мои кариатиды никогда не бывают одиноки. Это мои подруги, и я постоянно посещаю их, они знают обо мне всё. Время изрядно потрепало их полуобнажённые классические тела, да и на прекрасных лицах тоже оставило свои следы. Но в этом их очарование и подлинность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/obuh_arina/muha-imeni-shtiglica

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)